

РАЗМЫШЛЕНИЯ И РАЗБОРЫ

(Соч. П. А. Катенина)

СТАТЬЯ II.

IV. О поэзии греческой.

Греки были прекраснейшим из народов; из этого естественно последовало превосходство их скульптуры и поэзии. Древние статуи дошли до нас сквозь веки

126

разрушения, лучшие и славнейшие вовсе не дошли. Спасшиеся от времени и невежества изломаны, без рук, без ног, без голов, и при всем том все усилия позднейших народов, чтоб сравниться с ними, остались тщетны. Исполин Микель-Анджело¹⁶ мал перед развалинами Парфенона¹⁷; и к чести Каковы¹⁸ я думаю, что он улыбнулся сам, слыша похвалы лорда Байрона, предпочитавшего произведения современника древним¹⁹.

Шлегель весьма умно заметил тесное сродство творений греческого резца и лиры; они говорят душе одно и то же и взаимно служат дополнением друг другу. Но жребий был к первым благосклоннее: глаза потомства те же, стоит увидеть Аполлона Бельведерского, ироя, прозванного ошибкою Гладиатором, Диану с ланью²⁰ или Лаокоона, чтоб почувствовать и понять их достоинство; но язык эллинский²¹ не существует в живых, даже изучившему его с трудом многое останется темным и диким, переводов хороших почти нет; и можно утвердительно сказать, что, когда вопреки всему остатки греческих стихотворений

восхищают душу народов поздних, чуждых их веры, языка и обычаев, торжество гения здесь еще приметнее, нежели в бесспорном преимуществе их ваятелей.

Существование отца стихов, Гомера,— вопрос неразрешенный; и, не осмеливаясь вмешиваться в споры ученых, скажу только, что держусь мнения отрицательного. Мое почти беспредельное почтение и любовь к “Илиаде” и “Одиссее” более всего утверждают меня в моих мыслях. Я не верю, чтоб один человек мог столько знать, столько изобрести, столько выразить. *Антология*²² может изъяснить это тем, что сам Фив ему внушал песни, а он списывал; но чудесное в критике не допускается. Мне представляются сии песни, или рапсодии, не искусственным, а вдохновенным порождением целой области, целого поколения, а может, и более. Осада Трои, подвиги и бедства знаменитых победителей²³ могли, должны были у всех быть в памяти и устах; каждый певец воспевал любое из славных событий; легко могло прийти в мысль одному начать там, где другой кончил, или конец своей песни довести до начала уже известной, или связать две дотоле отдельные, и целое само собою образовалось. Сходство слога, не в грамматическом смысле (тут даже находят разности), но в эстетическом, весьма понятно там, где поэзия только рождается, где все видят, чувствуют и говорят на один лад, где еще нет классиков и романтиков. Все трубадуры сходны между собою, все северные баллады в одном духе, а из испанских романсов о Сиде²⁴ Гердер²⁵ собрал род биографии героя. В Италии несчетное множество стихотворцев, пленясь чужими и баснословными преданиями о паладинах Карла Великого²⁶ и небывалой войне с маврами²⁷, воспевали Роланда и Ринальда, Ангелику и Марфизу, Рогера и Брадаманту; Ариосто²⁸ продолжал поэму Боярда²⁹, а Берни³⁰ ее поновил. Прибавьте к ним прочих, писавших о том же, от

Пульчи³¹ до Фортиnguerra³²: какое огромное целое составится! Правда, в нем не будет той простоты, ясности и смысла, что в “Илиаде” и “Одиссее”, но и в каждом авторе порознь их уже нет. Они писали о вещах, явно несбыточных, над которыми сами смеялись; если б требования общества и собственный вкус задали им другую задачу, проще и серьезнее, они были бы осторожнее, менее противоречили себе и друг другу, и песни их удобнее бы сложились одна с другою. Впрочем, все это одно предположение: не то важно, кто писал “Илиаду” и “Одиссею”, а как они написаны. Творец жаждет бессмертия не имени своему, а творению.

Гомер точно бессмертен; слава его

127

разнеслась повсюду и не может умалиться никогда. Чтобы превзойти его поэзию, надобно возникнуть новому народу, одаренному от природы большею красотою тела и духа, нежели древние греки; но такое явление вряд ли в числе возможных.

Стыжусь упоминать о Перро³³, Ламоте³⁴ и Фонтенеле³⁵. Конечно, они довольно наказаны собственною виною и достойны сожаления, как слепцы; но то худо, что последний в особенности, пользуясь в свое время незаслуженным именем знатока, поддерживаемый целым отрядом умниц питомцев, успел много распространить ложных понятий во Франции, отколе, подкрепясь еще поверхностным суждением Вольтера, Лагарпа³⁶ и всей их школы, они с другими парижскими модами привезены и к нам. Мне случилось слышать от людей, слывающих поэтами с дарованием, такие отзывы о Гомере и древних вообще,

которые совестно вспоминать, не только пересказывать. Трудолюбивые и добросовестные немцы не позволяли себе сих юношеских приговоров; самые решительные романтики их сохранили глубокое почтение к греческим классикам; желательно, чтобы наши, перенимая иногда дурное, не позабыли перенять и хорошее.

Приметно, что вообще в наше время предпочитают “Илиаду” “Одиссее”; ясно, что не могут две вещи нравиться совершенно равно; и я бы не упомянул даже об этом, если б предпочтение сие выдавали, как оно есть, за произвольный выбор, а не за основательное заключение. Мудрено поверить, чтобы новые критики лучше древних знали Гомера; те, выучив его наизусть, и не думали возвышать одну поэму перед другой, равно прельщаясь обеими; трагики, ваятели, живописцы находили в каждой одинаков множество сокровищ, *Виргилий*³⁷ подражал им вкупе, и даже в его стихах красоты “Одиссеи” не уступают красотам “Илиады”. В последней больше огня и движения, действия и лиц; в первой больше простоты и спокойствия, больше сельского и домашнего; она еще более благоухает каким-то божественным елеем³⁸ старины.

Если можно местами назвать *Виргилия* переводчиком Гомера, то он, конечно, лучший из всех. На многие из европейских языков, по неизменному уже их свойству, нельзя перевести древних поэм, как должно: *экзаметр*³⁹, коим они написаны, существует только у немцев и, по счастью, у нас, русских; стихи другого размера с формою вместе изменяют и сущность рассказа. Ни у *Рошфора*⁴⁰, ни у *Попе*⁴¹, ни у *Чезароти*⁴², ни у самого *Монти*⁴³ Гомер не Гомер. Даже двое из них, *Чезароти* и *Попе*, следуя ложным правилам своего века, не переводили, а на новый лад наряжали или искажали священный памятник древности. *Вольтер* советует всем переводчикам поправлять

подлинник по понятиям XVIII-го столетия, и для образчика сам делает опыт, не многим удачнее предтечи своего Ламотта, им же осмеянного. Я полагаю: где нет экзаметров, надо поневоле держаться прозы, но и прозой истинно хорошего перевода не знаю. Фосс⁴⁴ в стихах лучше всего доньше существующего, хотя тяжел и несвободен. Костров, вероятно, испуганный лишним осмеянием “Телемахиды”⁴⁵, не смел взяться за экзаметр и в александринах⁴⁶ с рифмами явил много дарования, но хорошего перевода сделать не мог; он же не окончил и девятой песни “Илиады”. Г. Гнедич, знавший их только шесть, хотел продолжать труд Кострова и, переложив *сряду* еще четыре, весьма близко подошел к своему предшественнику; после он переменил мысль и начал новый перевод, как должно, размером подлинника: дай

128

бог ему скорее кончить с успехом^{*47}; но увы! на перевод “Одиссеи” и надежды нет⁴⁸.

Афины славны своими трагиками, столько же, как полководцами и витиями⁴⁹. Театр есть один из изящнейших вымыслов ума человеческого; в сценическом представлении соединяются разнородные красоты двух главных отраслей искусств: рисовальной и словесной. Вообразим себе событие важное, близкое нашему сердцу: великий художник удвоил его простоту и действие над нами, откинув все постороннее, разрушающее единство и впечатление зрелища, выразив языком божественным чувства и страсти человеческие. Высокие лица, дотоле известные нам из мертвых преданий и повестей, сами

* Писано задолго до издания перевода “Илиады”. Примеч. Изд. “Л.г.”.

оживленные перед нами, в точном их виде, в достопамятнейший день и час их жизни, существуют, движутся и говорят; все окружающее их, напоминая место и время их бытия, удвояет очарование. Соберем мысленно зрителей, одаренных душою пылкою, умом просвещенным, многих и любителей; поставим себя в числе их; предадимся вполне благороднейшему наслаждению; волшебю обмануты, разделим судьбу воскресших великих мужей, вникнем в их несчастья; и когда они в глазах наших совершатся, оставим глубокий след и память неизгладимую, когда занавес опустится и скроет от нас поприще и предметы обворожительного художества, спросим у себя: что другое с ним может сравниться? где удовольствие полнее и изящнее? Внутренний голос ответит: ничто и нигде.

Начало театра в Греции мало известно; говорить о телеге Фесписа⁵⁰ – значит терять слова; но кажется, нет сомнения в вакхическом происхождении трагедии⁵¹. Она некоторым образом входила в богослужение Вакха; на праздниках его представлялись бессмертные творения Эсхилос и Софоклос; и даже в нескольких, до нас дошедших, приметны следы первоначального назначения сего рода, хотя со временем судьба и деяния смертных, сильно привлекая внимание, заставили почти забыть хвалебные гимны сыну Семелы⁵² и прочим богам.

Устройство греческой сцены вряд ли где с ясностью описано; должно надеяться, однако, что в наш век, когда делают так много изысканий, не забудут ученые заняться и сею любопытною отраслью древних искусств. Верно только то, что наши театры в таких важных частях не сходны с афинским, что нельзя представить греческой драмы на них, ни обратно.

Одно из главнейших различий системы древней и новой есть хор. Все, что нынче так называется (разве отчасти веденный Расином в “Есфири”), не может дать нам ни малейшего понятия о значении и действии греческого. Сие лицо, ибо, несмотря на меняющееся по произволу число голосов, хор всегда говорит я, есть совершенно условное: хор древний, по пословице, *глас божий — глас народа*, разумеется, и глас творца драмы; изредка делается он действующим лицом, по большей части только свидетель и беспристрастный судия действия и лиц. Без сомнения, можно сказать много дельного против сего отступления от истины и натуры; но очевидно и то, что красноречивый представитель общества и потомства придает трагедиям древних нечто священное, важное и глубокое, чего нельзя сыскать в новейших формах, где также много условного в другом роде, но гораздо менее великолепия и поэзии.

Мы не знаем, чем была греческая трагедия до Эсхила, сделавшего в ней существенные и значительные перемены,

129

без сомнения, к лучшему, ибо в его время Греция вообще и Афины в особенности, после достопамятной их победы над Ксерксом⁵³, вдруг приметно возвысились во всем. Утвердительно можем сказать, вопреки Аристотелю⁵⁴, что после Эсхила трагедия не поднялась. Софокл имеет в сравнении с предшественником и преимущества и недостатки; Эврипид⁵⁵ отстал от обоих, а после него не было даже трагика, достойного передать имя свое истории и векам.

Из дошедших до нас семи трагедий Эсхила⁵⁶ особенное внимание заслуживают три, составляющие род целого, так

называемую трилогию. Уверяют, что в первую эпоху греческого театра венец служил наградой не за одну, а за три трагедии, связанные между собою содержанием и ходом, или по-нашему за одну большую трагедию в трех действиях. Обычай сей изменился мало-помалу, и даже в Эсхиле очевидно, что иная трагедия, например “Персы”, не могла принадлежать ни к какой трилогии. Желательно, чтобы новые опыты ознакомили нас с сею древнею формою драмы; произвольное расстояние времени между частями, за коим естественно следует и свобода в выборе места для каждого действия, дают возможность трагику обнять и представить событие или цепь событий обширных и многосложных: строгое же при том соблюдение единства времени и места в каждой части, налагая обязанность не отдаляться от истины, простоты и правдоподобия, могут, совокупив все разнородные выгоды драматических форм, довести искусство до высшей степени совершенства.

(Продол, в след. №)